



**Василий КАМЕНСКИЙ**

**Юность Маяковского**

1

Будто вчера только родились по-настоящему и вот сегодня начали жить и познавать мудрость новорождения.

Весь мир представлялся юным, новым, начинающим, взбудораженным.

Мы, футуристы, росли младенцами современности и не знали никаких берегов в океане возможностей.

Спайка стальной дружбы крепла. Восторженные встречи Колумбов и дела открывателей невиданной страны, неслыханной страны — футуризма сияли.

Наше время пришло, и мы нашли друг друга.

Давид Бурлюк — меня и двух своих братьев, Владимира и Николая.

Я — Велимира Хлебникова и Елену Гуро.

Зимой 1909 года мы издали первую книгу «Садок судей», напечатанную на обратной стороне комнатных дешевых обоев.

Мы первые разрушили старый синтаксис: уничтожили букву «ять», «твердый знак», и ко всем прочим знакам отнеслись по-футуристически.

Стихи и прозу сделали по новой форме, нами изобретенной.

Эта книга положила основание российскому футуризму.

Газеты обзывали нас «обойными поэтами».

Мы апеллировали к передовому студенчеству и получили надежную опору.

Тогда же организовали ряд выставок левой живописи.

Весь следующий год и дальше я занимался авиацией, как профессионал-авиатор.

Чугунно-литейный Давид Бурлюк не переставал со мной переписываться, держал в полном курсе футуристического возрастающего движения, ожидая меня в Москву.

Как броненосец на рейде, Бурлюк стоял на посту футуризма и ждал нашего приплытия для активного выхода в бой.

Он писал мне:

«Приезжай скорей, чтобы ударить с новой силой “Сарынь на кичку!”. Пора. Прибыли и записались новые борцы — Володя Маяковский и А. Крученых. Эти два очень надежные. Особенно Маяковский, который учится в школе живописи вместе со мной. Этот взбалмошный юноша — большой задира, но достаточно остроумен, а иногда сверх. Дитя природы, как ты и мы все. Увидишь. Он жаждет с тобой встретиться и побеседовать об авиации, стихах и прочем футуризме. Находится Маяковский при мне постоянно и начинает писать хорошие стихи. Дикий самородок, горит самоуверенностью. Я внушил ему, что он — молодой Джек Лондон. Очень доволен. Приручил вполне, стал послушным: рвется на пьедестал борьбы за футуризм. Необходимо скоро действовать. Бурно! Крученых с Хлебниковым на Песочной, у Матюшиных, Петербурге. Там же Бенедикт Лившиц и Коля Бурлюк. Брат Володя в Пензе, учится живописи. В Питере гремит Игорь Северянин. Слышал? Вези “Разина”. Торопись. Ждем немедленно. Лети курьерским. Д. Б у р л ю к».

Пригнал в Москву и прямо — к Давиду.

Бурлюк жил в Уланском переулке, около Мясницкой.

Ветром влетел в комнату: всюду картины в беспорядке, пахло свежими красками, на столе — горячий самовар, колбаса на бумажках и каравай ситного.

За столом двое — Бурлюк в малиновом жилете и худой, черноватый, с «выразительными» глазами юноша, в блестящем цилиндре, но одет неважно.

Встретились шумно, отчаянно и нервно до слез: давно не виделись.

Бурлюк басил дьяконски:

— Это и есть Владим Владимыч Маяковский, поэт-футурист, художник и вообще великолепный молодой конь. Мы пьем чай и читаем стихи.

Маяковский мне сначала показался скромным, даже застенчивым, когда Бурлюк перечислял его футуристические способности поэта. Но едва Бурлюк кончил акафист, как юноша вскочил, выпрямился в телеграфный столб и, шагая по комнате, начал бархатным басом читать свои стихи, размахивая неуклюже длинными руками.

Впрочем, Маяковский хотел познакомить меня со своими стихами. И я сразу оценил и любезность и громадную одарен-

ность восемнадцатилетнего поэта. И тут же подметил влияние учителя — Бурлюка.

Бурлюк смотрел на Маяковского в лорнет с любовной гордостью, перекидывал глаз на меня и гоготал, дрыгая малиновым животом.

Вообще в Бурлюке жило великое качество: находить талантливейших учеников поэтов и художников, и начинать, заряжать их своими глубокими знаниями подлинного, превосходного новатора-педагога, мастера искусства.

Только Давид Бурлюк умел, сидя за веселым чаем, как бы между прочим, давать незабываемо-важные теоретические, технические, формальные указания, направляя таким незаметным, но верным способом нашу работу.

Легко, остро, парадоксально, убедительно лилась речь Бурлюка, отца российского футуризма — об идеях и задачах нашего движения.

Мы отлично сознавали, что футуризм — понятие большой широты, как океан, и что мы не должны замыкаться лишь в берегах искусства, отделяя себя от жизни.

— Мы — н о в ы е л ю д и нового, современного человечества, — говорил Бурлюк, — мы — п р о в о з в е с т н и к и, голуби из ковчега будущего, и мы обязаны новизной прибытия, ножом наступления вспороть брюхо буржуазии, мещан-обывателей. Мы — революционеры искусства обязаны втесаться в жизнь улиц и площадей, мы всюду должны нести протест и клич «Сарынь на кичку!». Нашим наслаждением должно быть отныне — эпатирование буржуазии. Пусть глотка Маяковского и наши пестрые одежды будут противны обывателям. Больше издевательства над мещанской сволочью! Мы должны разрисовать свои лица, а в петлицы, вместо роз, вдеть крестьянские, деревянные ложки. В таком виде мы пойдем гулять по Кузнецкому и станем читать стихи в толпе. Нам нечего бояться насмешек идиотов и свирепых морд отцов тихих семейств. За нами стена молодежи, чующей, понимающей искусство молодости и наш героический пафос носителей нового мироощущения, наш вызов. Со времени первых выступлений в 1909-м, 10-м годах, вооруженные первой книгой «Садок судей», выставками и столкновениями с околоточными старой дребедени, мы теперь выросли, умножились и будем действовать активно, по-футуристически. От нас ждут дела. Пора, друзья, за копыя! Мы дали «Садок судей», мы дали «Пощечину общественному вкусу», мы дадим такие книги, картины и выступления, что взбудоражим всю Россию. Взбунтуем. Не правда ли, Владим Владимыч?

Маяковский с дикой жадностью впивал каждое слово Бурлюка, крупно шагал по комнате, нервно сморкался и приговаривал:  
— Мы им дадим, мы им поднесем.

Бурлюк гоготал от удовольствия, что сумел накалить саженного ученика, что юный бунтарь нетерпеливо «бил копытом» и не мог устоять на месте.

Видно было, как из него прет стихийная сила рожденного для борьбы и натиска. Недаром он торопил:

— Надо скорей выступать. Выступать.

Тут же было решено возложить на меня организацию первого московского публичного выступления в зале Политехнического музея.

И тут же придумали сшить для Маяковского «желтую кофту» из таких соображений.

Во-первых, это было протестом против сюртуков и фраков, обязательных при появлении перед публикой для писателей.

Во-вторых, это раздражало «приличное общество» господ эстетов.

В-третьих, это стоило два рубля.

В-четвертых, Маяковский был беден и не имел даже пиджака.

В-пятых, желтый цвет — цвет солнца.

Словом, с первых минут моей встречи с Маяковским мы больше не расставались, — так вместе жили и работали.

Дружили душа в душу — стих в стих.

Образовался неразлучный триумвират: Маяковский, Бурлюк, Каменский.

Через несколько дней я организовал в зале Политехнического музея «вечер футуристов».

Мать Маяковского, Александра Алексеевна, сшила сыну желтую кофту.

По Москве красовались наши желтые афиши особой конструкции.

Желтые билеты продавались нарасхват, ибо газеты писали о нас очень дурно.

Известный журналист Яблоновский напечатал, например, в «Русском слове» большой фельетон о нашем предстоящем выступлении под заглавием «Берегите карманы».

Яблоновский писал, предупреждая публику, что футуристы — не поэты, а мошенники, что-де эти «циркачи» зазывают публику в зал Политехнического музея на предмет грабежа, — когда часть футуристов будет «подносить ужасные стихи», другая — начнет обшаривать карманы.

Ну, ясно, публика бросилась к кассе, чтобы проверить — по-эты мы или, действительно, мошенники.

На улицах стояли толпы перед афишами и читали:

## **ДАВИД БУРЛЮК**

**ПРОЧТЕТ ДОКЛАД**

**КУБИЗМ И ФУТУРИЗМ**

Причина непонимания зрителем современной живописи. Провокация критики. Что такое искусство. Европа и Россия в живописи. Линия. Краска. Поверхность. Понятие фактуры. Кубизм как учение о поверхности. Футуризм.

## **ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ**

**ПРОЧТЕТ ДОКЛАД**

**АЭРОПЛАН и ПОЭЗИЯ  
ФУТУРИСТОВ**

О влиянии технических изобретений на современную поэзию. Рейсы гигантов-пароходов, пробеги автомобилей, пролеты аэропланов, — сокращая землю, дают новое представление о современном мире. Новый человек. Новая форма жизни. Новые понятия о красоте. Аэропланы, моторы, пропеллеры, автомобили, кино, культура — в стихах футуристов. Словострой мастерства.

## **ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ**

**ПРОЧТЕТ ДОКЛАД**

**ДОСТИЖЕНИЯ ФУТУРИЗМА**

Квазимодо. Критика. Вульгарность. Мы — в микроскопах науки. Город — дирижер. Группировка художественных сект. Достижения футуризма сегодня. Русские футуристы: Д. Бурлюк, Василий Каменский, Игорь Северянин, Хлебников, Н. Бурлюк, Крученых, Б. Лившиц. Различие в достижениях, позволяющее говорить о силе каждого. Идее футуризма, как ценный вклад в идущую историю человечества.

**ДАВИД БУРЛЮК  
ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ  
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ**

**будут читать свои стихи**

Возле здания Политехнического музея, перед началом, творилось небывалое: огромная безбилетная толпа молодежи осадила штурмом входы.

Усиленный наряд конной полиции «водворял порядок».

Шум. Крики. Давка.

Подобного зрелища до нас писатели никогда не видали и видеть не могли, т. к. с толпой они связаны не были, пребывая в одиночестве кабинетов.

В совершенно переполненном зале аудитории гудело праздничное, разгульное состояние молодых умов. Чувствовался сухой порох дружественной части и злые усмешки враждебного лагеря.

Перед нашим выходом на эстраду сторож принес поднос с двадцатью стаканами чая.

Даже горячий чай аудитория встретила шумными аплодисментами.

А когда вышли мы (Маяковский — в желтом распашоне, в цилиндре на затылке, Бурлюк — в сюртуке и желтом жилете, с расписанным лицом, я — с желтыми нашивками на пиджаке и с нарисованным аэропланом на лбу), когда прежде всего мы сели пить чай, — аудитория гремела, шумела, орала, свистала, вставала, садилась, хлопала в ладоши, веселилась.

Дежурная полиция растерянно смотрела на весь этот взбудораженный ад, не знала, что делать.

Какая-то девица крикнула:

— Тоже хочу чаю.

При общем одобрении я любезно поднес ей стакан.

Наконец я начал:

— Мы, гениальные дети современности, пришли к вам в гости, чтобы на чашу весов действительности положить свое слово футуризма...

Дальше, согласно программе и не согласно, говорил, что требовалось от футуриста, раскрывающего основные идеи нашего движения, поднятого в 1909 году, в Петербурге.

Мне кричали:

— А почему у вас на лбу аэроплан?

Отвечал:

— Это знак всемирной динамики.

Я развивал мысль о том, что мы — первые поэты в мире, которые не ограничиваются печатанием стихов для книжных магазинов, а несут свое новое искусство в массы, на улицу, на площади, на эстрады, желая широко демократизировать мастерство и тем украсить, орадостить, окрылить самую жизнь, замызганную, изгаженную буржуазно-мещанской пошлостью, мерзостью запустения, глупостью, отсталостью, невежеством и мертвецким смрадом старого «искусства богадельни». И это — в наше динамическое время, когда мы пережили революцию, когда над головами дрожит воздух, провинченный аэропланами, когда современность диктует быть новыми людьми и по-новому понимать жизнь и искусство.

Мне кричали:

— Вы поете песни Маринетти!

Отвечал:

— Вздор! Провокация! Маринетти главный удар направляет против музеев Италии, а мы свой Политехнический музей приветствуем! (Гром аплодисментов.) Я был в Италии и понимаю бунт итальянских футуристов: там лучшие города превращены в сплошные кладбища музеев, паноптикумов, антикварных лавок, там торгуют античной тысячелетней историей, там могилами прошлого задавлена современность. Вот откуда — из катакомб Рима — несутся песни Маринетти, желающего разрушить музеи и библиотеки, прославляющего войну, как единственную гигиену мира. А мы никакой войны между народами не желаем! (Крики: «Правильно!» Аплодисменты.) Мы поем свои собственные песни о торжестве современности над рухлядью обывательского, безотрадного бытия. Мы с удовольствием отпеваем покойников дохлого искусства уездной России. Мы — поэты-футуристы, живые, трепетные, сегодняшние, работающие как моторы, во имя энтузиазма молодости и во славу футуризма, мы будем очень счастливы вооружить вас, друзья современности, своими великолепными идеями. (Грохот ладош. Крики: «Да здравствует футуризм!» Из первых рядов — шипенье, цыканье. Снова крики: «Долой футуризм! Довольно!» Свистки, заглушаемые бурей аплодисментов. Сумбурное сражение меж молодежью галерки и публикой партера.)

Дальше выступил Маяковский, проглотив разом стакан чаю перед началом слов:

— Вы знаете — что такое красота? Вы думаете — это розовая девушка прижалась к белой колонне и смотрит в пустой парк?

Так изображают красоту на картинках старики — «передвижники».

Крики:

— Не учите! Довольно!

— Bravo! Продолжайте!

— А почему вы одеты в желтую кофту?

Маяковский спокойно:

— Чтобы не походить на вас (аплодисменты). Всеми средствами мы, футуристы, боремся против вульгарности и мещанских шаблонов, как берем за глотку газетных критиков и прочих профессоров дрянной литературы. Что такое красота? По-нашему — это живая жизнь городской массы, это — улицы, по которым бегут трамваи, автомобили, грузовики, отражаясь в зеркальных окнах и вывесках громадных магазинов. Красота — это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочками, а это — современный город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи. Красота — это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бактерий изображают мещан и кретинов.

Крик:

— А вы кого изображаете в микроскопах?

Маяковский:

— Мы ни в какие микроскопы не влазим. (Смех. Хлопки. Шум.)

Поэт говорит дальше о взаимоотношении сил современной жизни, о разделе классовых интересов и в связи с этим о группировках «художественных» обособленных сект, которые давят друг друга своей жуткой бездарностью, вульгарностью, «половым бессилием».

Крик:

— А вы не страдаете?

Маяковский:

— Не судите, милый, по себе. (Смех.) Только футуризм вас вылечит. (Смех. Хлопки.)

Оратор утверждает, что возрастающее движение футуризма сдвинуло жизнь, что в борьбе с буржуазно-мещанскими взглядами на жизнь и искусство футуристы есть и останутся победителями, что отныне влияние футуризма вошло в сознание каждого современного человека, что до сих пор никакого влияния на общество прежние писатели не оказывали, что декадентские стихи разных бальмонтов со строками:

Любите, любите, любите, любите,  
Любите, любите любовь... —

просто идиотство и тупость.

Крик:

— А вы лучше?

— Докажу.

И Маяковский, дав меткую характеристику каждого из поэтов-футуристов, блеснул великолепной памятью: прочитал с мастерством ряд стихотворных наших работ.

Третьим выступил Давид Бурлюк, иллюстрируя свой доклад диапозитивными снимками на экране.

В зале потушили электричество.

На экране появилась серая фотография каких-то сугубо провинциальных супругов, типа мелких торговцев.

Раздался хохот:

— Кто это?

Бурлюк, не поворачиваясь к экрану, умышленно сладеньким голосом начал:

— Перед вами — картина кисти Рафаэля.

Снова хохот:

— Неужели?

Бурлюк, кокетливо повернувшись к экрану, посмотрел в лорнет:

— Ах, виноват. Это карточка одного уездного фотографа из Соликамска. Но, право же, эта милая супружеская чета вам понятнее и ближе икон Рафаэля.

Голос из темноты:

— Рафаэль лучше. (Смех.)

Бурлюк:

— В самом деле? (Смех.) Но ведь Рафаэль занимался искусством, а искусство — вещь спорная, условная и жестокая. Рафаэль был одержим религиозными чувствами и делал картины для Ватикана. Четыреста лет тому назад разрешалось быть Рафаэлем и Леонардо да Винчи, — ведь тогда, кроме римского папы да нескольких мадонн, вообще ничего хорошего не было, но теперь? Позвольте опомниться. Где, кто мы? Позвольте представиться.

Голос:

— Позволяем.

Бурлюк:

— Мерси за любезность. (Смех.) Теперь, ныне, сегодня, сейчас — перед вами, современниками, выступают апостолы, ваши поэты-футуристы, воспевающие культуру городов, мировую динамику, массовое движение, изобретения, открытия, радио, кино, аэропланы, автомобили, машины, электричество, экс-

прессы, — словом, все, что дает нового современность. И мы полагаем, что вы должны требовать от искусства смелого отражения действительности. А когда мы даем вам не Рафаэля, а динамическое построение картины, невиданную композицию красочных линий, сдвиги и разложение плоскостей, опыты конструктивизма, введение новых материалов в работу, когда мы даем вам напоказ всю лабораторию наших исканий, — вы заявляете, что футуристические картины мало понятны. Еще бы! После Айвазовского и Репина увидеть на полотне бегущего человека с двенадцатью ногами, — это ли не абсурд.

Голоса:

— Абсурд! Правильно!

— У меня только две ноги.

Бурлюк:

— У вас две ноги, если вы сидите и считаете свои ноги (смех), но если вы бежите, то любой зритель увидит, что мелькающие комбинации ног оставляют впечатление двенадцати. И никакого тут абсурда нет. Искусство — не колбасная. Художник — не торговец сосисками! (Аплодисменты.) Право художника — право изобретателя, мыслителя, мастера своего станка. А право зрителя — смотреть на произведения нового искусства новыми глазами современника. (Голоса: «Правильно!») Довольно пребывать с очками на затылке и любоваться раскрашенными фотографиями господ «передвижников» и разных «миров искусства» — этих провинциальных эстетов и барских созерцателей «хорошеньких» женщин, запечатленных на полотнах в церковно-золотых рамках. Довольно пошлого эстетизма! Пора глядеть вперед по-современному и не одними только внешними глазами, но и зрением интеллекта, разума, расчета. Пора видеть в картинах геометрию и плоскости, материал и фактуру, динамику и конструкцию. Пора учиться понимать, как строится искусство футуризма. Пора плюнуть на безграмотных, тупоголовых газетных критиков — этих профессиональных ловкачей-провокаторов, выгоняющих строчки наглого невежества, нарочно путающих карты, чтобы засорить, забить ваши мозги всякой дрянью. К черту гонителей и палачей футуризма. (Гром аплодисментов.) Долой паразитов!

Дальше Бурлюк переходит к истории живописи девятнадцатого века, показывая на экране образцы, а затем — кубистические, футуристические работы последних дней.

Аудитория смотрит и слушает блестящего оратора с раскаленным вниманием до конца.

После докладов мы читали свои стихи под прибойный гул сплошных аплодисментов. И под свист.

Многие записывали отдельные строки.

Наэлектризованный зал долго не отпускал нас с эстрады, требуя новых стихов.

При выходе на улицу нас ожидала громадная толпа, которая шла провожать нас по Мясницкой до дому — до Бурлюка.

По дороге мы продолжали читать стихи и говорили всякие веселые вещи.

Маяковский среди уличной толпы чувствовал себя отлично: разговаривал, острил, метко отвечал на бесчисленные каверзные вопросы, приглашал всех к себе в гости.

Спрашивали:

— А у вас большая квартира?

Улыбался:

— От Пресни до Мясницкой. Заходите в любую и требуйте появления Маяковского.

И призывал:

Придите все ко мне,  
 Кто рвал молчанье,  
 Кто выл  
 Оттого, что петли полдней туги, —  
 Я вам открою  
 Словами  
 Простыми, как мычанье,  
 Наши новые души,  
 Гудящие,  
 Как фонарные дуги.

Поэт с новой «душой натянутой, как нервы провода» комнатно, по-домашнему шагал по тротуарам улиц так по-свойски, будто был действительным бродячим хозяином площадей и улиц, будто был единственным депутатом безудержной толпы. Недалеком провозглашал:

Я вышел на площадь,  
 выжженный квартал  
 надел на голову, как рыжий парик.  
 Людям страшно — у меня изо рта  
 шевелит ногами непрожеванный крик.  
 Но меня не осудят, но меня не облают,  
 как пророку, цветами устелят мне след,  
 Все эти провалившиеся носами знают:  
 Я — ваш поэт.

Как трактор, мне страшен ваш страшный суд.  
 Меня одного сквозь горящие зданья  
 проститутки, как святыню, на руках понесут  
 и покажут Богу в свое оправданье.

Недаром толпа «безъязыковой улицы» сразу, с первых гулких шагов поэта, воспринимала трубного Маяковского, как своего избранного трибуна-бунтаря.

## 2

Теперь жизнь развернулась праздником, жизнь бурлила, как кипяток в печке, и каждый новый день приносил охапки новостей разных сортов.

После выступления в Политехнической газеты подняли страшный лай во всю подворотню.

Нас честили «размалеванными клоунами» и даже «живоде-рами».

Стихи наши называли «поэзией сумасшедших».

Особенно уцепились за желтую кофту Маяковского, именуя поэта «желторотым верзилкой», «ухарем с окраины», «человеком из румынского оркестра», «ломовиком из Замоскворечья».

Началась организованная травля. Результат: Маяковского и Бурлюка выгнали из школы живописи и ваяния.

Маяковский сказал:

— Это все равно, что выгнать человека из отхожего места на чистый воздух.

Так мы и зажили на чистом воздухе: почти не сходили с улицы, окольцованные молодежью.

Без конца нас зазывали: в кружки, в студенческие столовки, на сходки, на вечеринки.

И всюду мы читали стихи.

Маяковский читал изумительно, с широкими проворными жестами, будто по воде плавал, и голос его звучал как у парохода.

И слова он складывал, как тюки в порту.

Во всей его фигуре ощущалась природная громадность, величавость, обширность, планетарность, изобилие.

В эти дни он писал «Трагедию Маяковского».

Писал он ее на моих глазах.

Собственно, не писал, как обыкновенно пишут за письменным столом (у него и стола не было), а работал своим оригинальным способом.

Метод его работы заключался в том, что задуманную тему он разрабатывал до точности в голове и строил строки мысленно почти вслух, воображая себя читающим, исполняющим.

При этом он не нуждался в уединении, а напротив — непременно работал при нас и новые сделанные строки сейчас же переводил на голос, как бы проверяя их значимость.

И даже справлялся:

— Интересно?

И получал неизменный ответ:

— Гениально!

Маяковский улыбался как ребенок, шагал по комнате, нервно сморкался, глотал чай, рассеянно смотрел на нас и продолжал работу.

И когда кончал — при первом же выступлении читал с явным удовольствием и уверенностью крупного мастера.

А этих выступлений и чтений было без пределов.

Мы без конца обслуживали Москву (Маяковский, Бурлюк, Каменский), а в Петербурге действовали: Хлебников, Кручных, Бенедикт Лившиц, Игорь Северянин, Николай Бурлюк, Елена Гуро.

Впрочем, Игорь Северянин объявил себя «эгофутуристом» и выступал самостоятельно, вне нашей крепко спаянной группы.

Все мы, обвеянные задорной молодостью, широкой общительностью, энергично работали, раздавались в размахе, углублялись в мастерство, выпускали сборники, выступали сплошь, дрались с врагами-критиками, крыли буржуев, мещан, обывателей и их искусство.

В отношении словесных драк Маяковский, разумеется, стоял на своей недосыгаемой высоте неслыханного остроумия и так сверкающе умел издеваться над врагами, что от них летел пух, как из распоротой перины.

Он искренне гордился, что за ним упрочилась газетная слава «скандалиста» и «апаша».

Но в гостях, среди девушек нашей армии, он заявлял:

— Да я же, девушки, по существу — нежный как чайная роза, и вы, пожалуйста, меня не бойтесь.

И, действительно, в своем кругу Маяковский был неисчерпаемо обаятелен; предупредителен, весел, добр и очень любил читать стихи.

И читал не только свои, но и наши.

Даже распевал Северянина, а после добавлял:

— А все-таки я пишу лучше Северянина. Например, прослушайте мою «Трагедию Маяковского» и вы со мной согласитесь.

— Просим, просим!

И Маяковский «бархатом голоса», плавая руками, начинал наворачивать свое последнее произведение.

Хорошо!  
 Дайте дорогу.  
 Думал —  
 Радостный буду.  
 Блестящий глазами  
 Сяду на трон,  
 Изнеженный телом грек.  
 Нет!  
 Век,  
 Дорогие дороги,  
 Не забуду  
 Ваши ноги худые  
 И седые волосы северных рек.  
 Вот и сегодня  
 Выйду сквозь город,  
 Душу  
 На копьях домов  
 Оставляя за клоком клок.

И, кончив, вздыхал задумчиво:

— Даже самому страшно, как я пишу серьезно. Нет, давайте лучше веселиться, а то скучно что-то.

Быстрая смена душевного состояния было характерной чертой Маяковского.

Всегда казалось: он здесь и не здесь, он — он с нами и как будто отсутствует, вдруг уходит глубоко в себя, а потом внезапно возвращается:

— Ну, что же вы, ну, давайте веселиться, целоваться, любить, ругаться и вообще что-нибудь делать замечательное. Например, пойдёмте в редакцию «Русского слова» и потребуем от Сытина, чтобы он печатал наши стихи, а ежели откажет — мы выбьем сытинские стекла и крикнем Тверской, что отныне Сытин низложен, что «Русским словом» завладели футуристы, что теперь в кабинете сидит Маяковский и раздаёт авансы.

И он так детски радовался этой озорной фантазии, будто в самом деле это событие только что произошло.

Так всякий раз из Маяковского выпирало яркое и заразительное воображенье.

И почти каждый раз вслед за этим наступала мгновенная смена мрачной тоски.

Или вдруг где-либо на улице:

— Давай, Вася, зайдем в кондитерскую, купим пирожных, конфет, возьмем извозчика и поедем на Пресню к маме, к сестрам. Обрадуем.

И все это мы проделывали с большим увлечением.

Надо сказать, что Маяковский с необычайной любовью относился к своей матери, Александре Алексеевне, и любил своих сестер — Ольгу и Людмилу, неизменно связывая эту любовь с воспоминаниями багдадского и кутаисского детства.

Без конца он рассказывал, как любил в Багдадах (где родился) уходить из селения один с собаками, чтобы полежать под деревом, и ему особенно нравилось, что собаки его охраняли.

— Из-за этого и уходил, — смеялся Володя, — уж очень нравилось, что собаки крепко меня оберегали.

Меня удивляло и то, что дома, при матери и сестрах, Володя становился совершенно другим: тихим, кротким, застенчивым, нежным, обаятельным сыном и братом.

И было очевидно, что и дома Володю горячо любили и считали праздником каждый его приход.

В эти домашние часы, наблюдая за Володей-сыном, таким совсем иным, неузнаваемым, и в то же время зная Володю-поэта, Володю-бунтаря в желтой кофте, я много думал о том, что в Володе живут два Маяковских, два разных существа и при этом таких, которые меж собой находятся в состоянии борьбы.

Это, впрочем, замечал и Бурлюк и еще некоторые наши приятели.

### 3

Маяковский рос своим гигантским маяковским ростом.

Он много читал и, обладая феноменальной памятью, мог цитировать наизусть громадные куски прочитанного.

Однажды он удивил меня до потрясения.

Нас пригласили на медицинские курсы, чтобы ближе познакомиться с студенчеством с идеями футуризма.

Маяковский смеялся перед выходом:

— Уж очень подозрительно, что именно медики заинтересовались футуризмом. Может они считают нас сумасшедшими? Ну, ладно. Я докажу этим акушерам, что мы тоже кое-что понимаем в медицине.

Каково же было всеобщее изумление, когда Маяковский в своей речи о футуризме перед медиками вдруг перешел на достижения современной медицины.

Меня затрясло от неожиданности и боязни за отважность оратора.

Маяковский говорил о хирургическом вмешательстве футуристов в организм литературы и блестяще процитировал наизусть целый ряд из трудов мировых хирургов, остроумно сопоставляя нашу работу с доводами великих ученых.

Успех был громадный.

На этот раз Маяковскому аплодировали даже профессора, несмотря (в буквальном смысле) на его желтую кофту.

Откуда взялись эти цитаты?

Очень просто.

Оказалось, что пока выступал Бурлюк и я — тем временем Маяковский, ожидая своей очереди, просмотрел в библиотеке курсов несколько книг по хирургии.

Он, как говорится, кокетничал своей памятью, не зная себе равных.

В любой момент и где угодно (в трамвае, на улице, за обедом, в гостях, дома, в лифтах, на лестницах) он читал стихи разных поэтов.

Я встретил девушку  
С печальными глазами,  
С глазами, как ее вуаль.  
И скоро мы под небесами  
Постигли трепетную даль.

Давид Бурлюк спрашивал:

— Это откуда? Чьи?

Маяковский улыбался:

— А черт его знает. Стихи помню, а фамилия какая-то гнусавая, — вроде Бальмонта или Монте-Карло.

И в эту же секунду переходил на стихи Бурлюка.

Каждый молод, молод, молод,  
В животе чертовский голод.

Бурлюк едва успевал раскланиваться:

— Мерси. Мерси. Мерси.

После переходил на мои.

Из моих вещей он любил читать отрывки из «Степана Разина».

Сарынь на кичку!  
Ядреный лапоть  
Пошел шататься по берегам.

Часто цитировал также Хлебникова, которым мы все вдрызг восторгались.

У колодца расколоться  
 Так хотела бы вода,  
 Чтоб в болотце с позолотцей  
 Отразились повода.

Маяковский говорил о Хлебникове:

— Иногда мне кажется, что Витя и сам не понимает, какой он блестящий поэт. И вообще он ни черта не понимает в жизни! Святой какой-то, и это меня ужасно злит. Почему, например, у него нет голоса? Разве в наши идиотские дни можно быть поэтом без голоса, когда живешь только глоткой, когда надо орать, драть-ся, таранить.

Хлебников, в самом деле, ничего этого не умел, но зато Маяковский таранил за десятерых. И его трубный бунтарский голос слышался далеко за окрестностями Москвы.

Недаром он теперь рвался двинуть по всем городам России, чтобы «людей посмотреть и себя показать».

Кстати, до этой поры Маяковский России не видел, не знал. И теперь он с возрастающим нетерпением стремился, размахивая тяжелыми ручищами, взять города бурным футуристическим штурмом, восторженно предвкушая ожидаемые скандалы и успехи.

#### 4

Футуризм перекинулся радугой на сером небе расейского бытия.

Напрасно старались газеты — эти кладбищенские ведомости — назвать наше победоносное движение, нашу революцию в искусстве, наше новаторство открывателей просто «сезонной модой» или «общественным сумасшествием», напрасно травили нас «воображающими себя гениями» или «калифами на час», которые вот-вот обанкротятся и «не выдержат марки», напрасно откровенно доносили полиции, что мы развращаем, революционизируем шальную молодежь, что мы «разжигаем страсти», устраиваем публичные «скандалы».

Напрасно Яблоновский в «Русском слове» писал о нас фельетоны под заглавием «Берегите карманы».

Вся эта гнусная газетная пачкотня только прибавляла, укрепляла наших бесчисленных сторонников и, наконец, отовсюду,

из всех городов России мы стали получать телеграммы с приглашением выступить с лекциями о футуризме.

Слава о нас, как говорится, «ушла далеко за пределы отечества».

После ряда густых выступлений в Москве и Петербурге мы решили двинуться по городам России, куда нас призывали.

Первым посетили Харьков.

Газеты встретили:

### ФУТУРИСТЫ В ХАРЬКОВЕ

Вчера на Сумской улице творилось нечто сверхъестественное: громадная толпа загрохотала улицю. Что случилось? Пожар? Нет. Это среди гуляющей публики появились знаменитые вожди футуризма — Бурлюк, Каменский, Маяковский. Все трое в цилиндрах, из-под пальто видны желтые кофты, в петлицах воткнуты пучки редиски. Их далеко заметно: они на голову выше толпы и разгуливают важно, серьезно, несмотря на веселое настроение окружающих. Какая-то экспансивная девица поднесла футуристам букет красных роз и, видимо, хотела сказать речь, но, взглянув на полицейского надзирателя, ретировалась. Сегодня в зале Общественной библиотеки первое выступление знаменитых главарей футуризма. Билетов, говорят, уже нет, что и требовалось доказать. Харьковцы ждут очередного «скандала».

Скандал обычно, как аккомпанемент, заключался в свисте, в криках, в топаньи ногами, в смехе, в шуме, в бросаньи мелких предметов, в иступленных приветствиях, во взаимных ругательствах и в полицейских протоколах.

Переполненные до нестерпимости аудитории (врагов и друзей) парились возбужденно, как в торговой бане, и вели себя воистину непринужденно — кто во что горазд.

А мы этому помогали, чем могли.

Маяковский рявкал:

— Все равно, вам меня не переорать, не старайтесь. Вы не Маяковские, у вас не выйдет.

В общем, пополам с кулаками, «вечер поэзии» кончился благополучным возвращением из полицейского участка.

Выступление повторили.

И опять полно. И опять баня.

Наши номера а гостинице с утра осаждались группами харьковской горячей молодежи.

Многие приносили наши книги, чтобы мы дали автографы. Я почти всем подписывал «Сарынь на кичку», как просили.

Разинские стихи, как вселяющие дух бунта, нравились больше всего.

На афишах я печатался — «пилот-авиатор императорского всероссийского аэроклуба», — это делалось для благополучия губернаторского разрешения афиши, ибо обычно полиция, взглянув на афишу, разрешения не давала, а посылала за визой к губернатору, к которому я ходил лично.

Показывал «его превосходительству» диплом авиатора, где было сказано, чтобы власти оказывали мне всяческое содействие.

Потом показывал афишу с выделенным заглавием «Аэропланы и поэзия».

Губернатор недоумевал:

— Но при чем же тут футуризм? Что это такое? Зачем?

Я объяснял, что футуризм главным образом воспекает достижения авиации.

Губернатор спрашивал:

— Бурлюк и Маяковский тоже авиаторы?

Отвечал:

— Почти...

— Но почему же, — интересовался губернатор, — вокруг ваших имен создается атмосфера скандала?

Отвечал:

— Как всякое новое открытие, именуют «сенсацией» или «скандалом», — это обыкновенный способ «создать бучу», чтобы больше продавались газеты.

— Пожалуй, это правда, — соглашался губернатор и неуверенной рукой писал: «разрешаю».

А газеты, действительно, густо наворачивали всяких фельетонов, статей, интервью, пускаясь в самое развеселое плавание по лужам остроумия.

Например, в том же Харькове после первого выступления писали:

«...верзила Маяковский в желтой кофте, размахивая кулаками, зычным голосом “гения” убеждал малолетнюю аудиторию, что он подстрижет под гребенку весь мир и в доказательство читал свою поэзию: “Парикмахер, причешите мне уши”. Очевидно, длинные уши ему мешают. Другой “поэт-авиатор” Василий Каменский, с аэропланом на лбу, кончив свое “пророчество о бу-

душем”, заявил, что готов “танцевать танго с коровами”, лишь бы вызвать “бычачью ревность”. Для чего это нужно — курчавый “гений” не объяснил, хотя и обозвал доверчивых слушателей “комолыми мещанами, утюгами и вообще скотопромышленниками”. Однако, его “Сарынь на кичку” — стихи самые убедительные, — того и гляди хватит кистенем по голове. Но “рекорд достижений футуризма” поставил третий размалеванный “гений” — Бурлюк, когда, показав воистину “туманные” картины футуристов, дошел до точки, воспев в стихах “писсуары”... Надо же было додуматься до подобного “вдохновения”. О, конечно, успех футуристов был громадный, невиданный, похожий на “великое событие” в наши скучные дни, но этот успех делает молодежь, которой очень нравится, что футуристы смело плюют на признанных всем миром настоящих жрецов алтаря искусства».

В этом последнем случае мы, в самом деле, не стеснялись, ибо этой тактикой разрушали «ореол величия» далекого прошлого, перед которым все были в «священном преклонении», кроме нас, устремленных в будущее.

И особенно «не стеснялся выразаться» наш оратор Маяковский. Когда ему крикнули из первых рядов: «Не троньте классиков!» — он спросил:

— А вы кто будете? Делегат из бюро похоронных процессий?

— Мальчишка! — понеслось поэту.

Маяковский прорычал:

— Лысая говядина!

Тут и засvistели, и заорали, и захохотали, и затопали, и зааплодировали.

Словом, к нам подошел полицмейстер:

— Кончено! Прекратите безобразия!

Мы уехали в Полтаву.

Однако и «полтавская битва» не оставила пожелать лучшего: нас освистали за «сопливого» Надсона и всех прочих кумиров, которых мы столкнули с «парохода современности».

По этому случаю в Одессе мы выдержали особо свирепый натиск газетной критики да и слушателей из партера одесского общества.

Вот где было сражение!

Две большие газеты «Одесские новости» и «Южная мысль» плюс «вечерняя» встретили наше прибытие необычайно широко, шумно.

На страницах появились большие портреты, интервью, статьи и даже беседы с доктором философии Г. Я. Полонским, который в это время ездил с лекциями «Право на материнство».

В какой только не приедешь город — везде преследуют афиши «Право на материнство», как бы поддерживая нашу беременность футуризмом.

Маяковский называл Полонского:

— Матерный философ.

Этот матерный философ напечатал в газете «Южная мысль» длинную и глупую, как его борода, беседу, которую кончил так: «Все эти господа Маяковские, Хлебниковы, Каменские, Бурлюки — бесцветны, малоталантливы, не ярки, бедны».

Маяковский злился:

— Ах, этот матерный подлец! Я как-нибудь его прижму и заставлю родить.

Кстати, этого философа спросили:

— А вы, профессор, бывали на выступлениях футуристов?

— Нет, — скромно прошамкал профессор «свободной любви» (первый тезис на его афишах), — мне некогда, я выступаю сам. Но мне рассказывали знакомые.

Да, вот какие стены невежества нам приходилось пробивать.

И пробивали, таранили, наступали.

В пику «Южной мысли», конкурирующие «Одесские новости» поместили громадное интервью со мной, где я обосновал идеи футуризма, но и тут газета приплела немало пошлой отсебятины в угоду обывателям.

Словом, сделав обычный «авиаторский» визит к губернатору, я получил разрешение, и мы выступили в городском театре, до потолка переполненном пестрой публикой.

Знакомый по Петербургу критик Петр Пильский сказал крепкую вступительную речь, как адвокат, защищающий «тяжелых преступников».

За ним выступил я с докладом «Смехачам наш ответ», где дал достойную отповедь нашим врагам.

Но едва я коснулся литературной богадельни седых «творцов, кумиров и жрецов», как в партере зашикали, загалдели, а на галерке захлопали.

Замечательно, что каждый город защищает какого-нибудь одного из писателей, которого никак трогать нельзя.

В Одессе таким оказался Леонид Андреев.

Можно всех святых свалить с «парохода современности», но Леонида Андреева не тронь!

Я было «тронул» Андреева за убийственный пессимизм, но меня затюкали.

С таким же «успехом» выступил и Маяковский, остроумно «напопдевавший» малокровных символистов-поэтов.

Коньком Маяковского являлся Бальмонт, как Рафаэль у Бурлюка.

С блестящей убедительностью Маяковский «взял в переплет» Бальмонта, как завязатого эстета, и, оперируя бальмонтскими стихами, доказал всю жалкую беспомощность и скудоумие поэзии символистов-мистиков.

Маяковскому свистали.

Он заявил:

— Если вы воображаете, что вы — соловьи, то чирикайте Бальмонту, а я больше люблю свистки фабрик и паровозов.

Галерка, молодежь аплодировали.

Вообще наши выступления носили характер митингов, где на первом плане горела возбужденность собравшихся.

В Одессе прошло несколько рядовых выступлений и все с неостывающим «успехом».

В гостинице, на улицах была обычная картина: нас окружала неисчерпаемая смена молодежи, начиненная нашими стихами и лозунгами искусства молодости — футуризма.

Эта передовая молодежь превосходно нас понимала, ценила наше движение, и никакие провокаторские гнусные газетные статьи не могли помешать нашему торжественному шествию. Нас понимали и в том отношении, что, будучи убежденными революционерами, мы не имели возможности сказать об этом открыто, но так или иначе мы революционизировали молодые умы, в свою очередь травили буржуазию, бунтовали против «устоев» тюремного бытия, издевались над «внутренним» мещанством духа, толкали к новому мироощущению, будоражили жизнь.

Полагаю, что в эти жуткие дни реакции, когда в тех же «Южных мыслях» и «Одесских новостях», в тех же номерах газет (они у меня хранятся), где травили нас, жирным шрифтом печатали названия телеграмм и самые телеграммы: «К освящению храма в память 300-летия дома Романовых», — в эти дни читать публично:

### ТРАГЕДИЯ МАЯКОВСКОГО! САРЫНЬ НА КИЧКУ!

было достаточно крепким доказательством наших убеждений.

Ведь почти каждый раз (и в Москве и в Петербурге) после выступления нас водили в участок «для составления протокола».

Диплом пилота-авиатора вырубал и тут.

Я давал подписку, что не будем читать подобных вещей и, конечно, читали всюду.

Здесь, разумеется, нет и капли «геройства» (сейчас все расценивается по-другому — это ясно), но тогда это было «проблеском» во тьме.

Только живые свидетели, которых еще много, могут вспомнить и наши «заслуги» русских футуристов, сыгравших свою историческую роль.

Колесо жизни вертелось.

Нам надо было ехать в Кишинев, но Маяковский задерживал отъезд.

Мы волновались.

Дело в том, что Маяковский влюбился здесь в красавицу Марию Александровну и по этому неожиданному случаю «сходил с ума».

Он «рвал и метал» и вообще не знал, как быть, что предпринять, куда деться с этой нахлынувшей любовью.

Семнадцатилетняя Мария Александровна принадлежала к числу тех избранных девушек того времени, в которых сочетались высокие качества пленительной внешности и интеллектуальная устремленность ко всему новому, современному, революционному.

Стройная, обаятельная, «с глазами южной ночи» — это она сразу же представилась воображению поэта:

А я только видел  
Вы Джиоконда,  
Которую надо украть.

Двадцатилетний Маяковский, еще не знавший любви, впервые изведal это громадное чувство, с которым не мог справиться.

Взволнованный, взметенный вихрем любовных переживаний, после первых свиданий с Марией он влетал к нам в гостиницу таким праздничным весенним морским ветром и восторженно повторял: «Вот это девушка, вот это девушка».

Или вдруг, обвешанный мрачными предчувствиями возможной неудачи, он нервно, задумчиво шагал по комнате, чтобы вскоре же сказать:

Меня сейчас узнать не могли бы:  
Жилистая громадина стонет, корчится.  
Что может хотеться этакой глыбе?  
А глыбе многое хочется.

И мы действительно в эти дни не могли узнать прежнего беспечного Володю, который теперь рвал и метал, бегал по комнате

из угла в угол, как лев в клетке, и вопрошающе твердил: «Что делать? Как быть?»

Бурлюк, в лорнет наблюдая за влюбленным другом, развалившись на диване, тихонько и нежно подсказывал:

— Напрасно страдаете. Ничего не выйдет. Из первой любви никогда ничего не выходит.

Маяковский рычал:

— У всех ничего не выходит, а у меня выйдет.

Бурлюк стоял на своем:

— Напрасно страдаете, Владим Владимыч.

И вот с глыбой-Маяковским началась тропическая малярия любви.

Вы думаете это бредит малярия:  
 Это было,  
 Было в Одессе.  
 Приду в четыре сказала Мария.  
 Восемь.  
 Девять.  
 Десять.

Маяковский потерял покой. Первая праздничность встреч сменилась острой болью тревоги.

Мама!  
 Ваш сын прекрасно болен.  
 Мама!  
 У него пожар сердца.  
 Скажите сестрам Люде и Оле  
 Ему уже некуда деться.

И мы это видели. И посоветовали Маяковскому ускорить объяснение с Марией Александровной, так как выступления наши в Одессе кончились и нам надо было торопиться в Кишинев.

Развязка пришла.  
 Двери вдруг заляскали,  
 Будто в гостинице  
 Не попадает зуб на зуб.  
 Вошла ты  
 Резкая как нате.  
 Муча перчатки замш,  
 Сказала:  
 «Знаете,  
 Я выхожу замуж».

Ошеломленный Маяковский в этот же вечер решительно заявил: «едем», и курьерским поездом мы помчались в Кишинев.

В вагон-ресторане мы сначала втроем очень долго молчали, пока, наконец, Давид Давидович Бурлюк, размышляя о Марии, не произнес:

Но я другому отдана  
И буду век ему верна.

Маяковский тяжело улыбался, молчал.

Через несколько дней, направляясь из Кишинева в Николаев, а потом в Киев, Маяковский, сидя в купе и поглядывая в окно, напевал:

Это было,  
Было в Одессе...

Именно эти памятные строки вошли вскоре в его прекраснейшую из поэм «Облако в штанах», или по первому названию — «Тринадцатый апостол».

Как вагон, тесна была ему тогдашняя жизнь, и потому так сокрушительно рвался он к просторам будущего.

Вижу идущего через горы времени,  
Которого не видит никто.

В Киеве Маяковский весь был охвачен пламенной мыслью сделать будущую поэму грандиозной вещью.

— Чтобы, как крейсер, — говорил он.

К началу нашего выступления в Киеве к подъезду театра пригнали отряд конной полиции.

Около театра собрались группы студентов и пели: «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой».

Полиция разгоняла студентов.

Студенты не унимались, пели:

По пыльной дороге  
Телега трясется:  
В ней по бокам  
Два жандарма сидят.

Указывая на отряд конной полиции, Маяковский сказал:

— Даже лошадей, подлецы, впутали в наше дело.

Мы подходили к театру, к нам кинулось из толпы несколько студентов с горячими вопросами:

— Вы за революцию?

Мы их успокоили.

Студенты убежали.

Когда подняли занавес в театре, мы ахнули: на каждые десять человек переполненного зала торчали всюду настоженные полицейские.

Такого зрелища я не видал никогда.

Что случилось? Никому неизвестно.

Мы подвесили на канатах рояль вверх ногами и под ним выступали.

Общая картина та же, что и в Одессе, и всюду.

На следующий день газета «Киевская мысль» напечатала:

### ФУТУРИСТЫ В КИЕВЕ

Вчера состоялось первое выступление знаменитых футуристов: Бурлюка, Каменского, Маяковского. Присутствовали: генерал-губернатор, обер-полицмейстер, 8 приставов, 16 помощников приставов, 25 околоточных надзирателей, 60 городских внутри театра и 50 конных возле театра.

По-моему, это была самая замечательная статья о наших выступлениях. А вызвана эта статья была тем, что цензура запретила «Киевской мысли» напечатать специально изготовленную положительную статью о нас, как провозвестниках революции.

После нескольких лекций в Киеве поехали в Саратов и потом в Самару.

В Самаре нас почему-то чествовала городская управа (в частном доме).

Секретарь управы, по поручению «городского головы», спросил наши имена-отчества.

Я сказал:

— Это — Давид Давидович, это — Владимир Владимирович, а я — Василий Васильевич.

— Нет, это не может быть, — воскликнул секретарь управы, — нет, это неудобно. Я спрашиваю серьезно, — сейчас «голова» будет говорить речь и если он так вас назовет, — все, право, засмеются. Пожалуйста, скажите.

— Но нас так зовут в самом деле.

— Нет, это неудобно. Смешно. Ей-богу, вы это придумали. Уж лучше разрешите по имени и фамилии, как указано на ваших афишах.

— Разрешаем.

Из речи «головой» мы поняли, что самарская «голова» — большой либерал. Он прямо произнес:

— На фоне печальной русской действительности вы, футуристические поэты, самые яркие и свободные люди. Ура!

Это нас ободрило — мы двинулись «взять» Казань.

В огромном зале «дворянского собрания» казанские студенты, запрудившие проходы и окна, так нас горячо приветствовали, что полицмейстер шесть раз прерывал наше выступление:

— Пока не прекратится скандал — не позволю продолжать!

Маяковский заявил полицмейстеру:

— Какой же это скандал, когда ребята радуются, что мы приехали.

Но желтая кофта Маяковского не внушала никакого доверия полиции, а его «развязность» и голос ломовика наводили панику на мирное население.

Страсти бушевали бурей на Волге.

Едва доплыли до берега.

«Скандал», как всюду, заключался в том, что молодая аудитория неистовствовала: шумела, кричала, свистала, топала, хлопала, веселилась.

Полицмейстеры нервничали, разглядывая нас:

— Это какие-то пираты!

Посетили Пензу.

В Пензе уже существовал «футуристический дом» — семья Константина Карловича Цеге, где часто гостили известные художники-футуристы: Владимир Бурлюк, Владимир Татлин, Аристарх Лентулов.

Сам Цеге учился в пензенской гимназии вместе с Мейерхольдом.

В доме Цеге жили наши книги, картины, музыка, стихи.

Дальше побывали в Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе.

Папы и мамы буржуазных тихих семейств нами пугали детей.

Вообще было очень весело.

Не унывали.

Под свист мещанства и приветствия восторженной молодежи, под газетную травлю и преданность армии юношества, под драку с врагами и объятия друзей мы продолжали читать свои стихи, говорить свои бунтарские речи, сталкивая с «парохода современности» всех великих конкурентов по части поэзии, прозы, театра и живописи.

Мы били кистенями разума по башкам эстетов, буржуев, мещан и всяких идиотов салонной литературы — в этом была наша приятная специальность, хотя и беспокойная.

Двадцатилетний Маяковский, слегка утомленный от постоянных драк, твердо предложил:

— Поедем, ребята, в Тифлис. Это единственный город, мой город, где не будет скандала, где любят новых поэтов и умеют встречать гостей.

Поверили. Поехали.

В конце марта 1914 года мы (Маяковский, Бурлюк, Каменский) прикатили в Тифлис.

Остановились на Головинском, в «Гранд-отеле».

Маяковский немедленно исчез и через полчаса ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой.

Наш громадный номер наполнился криком молодых орлов, блеском весенних глаз, взмахами крыльев-башлыков, трепетом неудержимого темперамента.

Маяковский всех обнимал, целовал и говорил по-грузински, как по-русски.

Он расспрашивал обо всех друзьях детства из кутаисской гимназии, ребячески веселился и несколько раз порывался сплясать лезгинку.

И тут же читал стихи и нас заставлял читать.

Словом, было ясно, что Маяковский у себя дома, среди крепких горячих друзей.

И было ясно, что футуристический успех в Тифлисе обеспечен, что скандала в этом городе не будет, что здесь в обиду не дадут.

Так и получилось.

Когда появились всюду желтые, как кофта Маяковского, афиши, возвестившие о нашем торжественном выступлении в казенном оперном театре, грандиозная толпа молодежи следовала за нами по улицам с криками: «Да здравствуют поэты!»

Все это уличное зрелище походило на праздник, на неслыханное событие, на извержение фантастического происшествия.

Картина: в яркоцветных одеяньях разодетые три поэта гуляют по тротуарам солнечного берега Головинского.

Просто гуляют.

А кругом водопад юности, весны, песен, возбужденных голосов:

— Футуристы приехали! Футуристы гуляют! Футуристы едят апельсины! Футуристы докажут! Да здравствует...

И доказали.

В переполненном театре публика жарится, как шашлык на вертеле.

Маяковский в кофте «из трех аршинов заката», широко размахивая надежными руками, громогласным рупором голоса вбивает сваи зарожденья нового мироощущенья, нового понимания искусства, как общественного площадного массового выявления творческой активности всех народов мира.

Двадцатилетний оратор бурлит разбегом Риона, наворачивает крупные скалы мысли, сияет бирюзой горизонтов будущего, управляет вершинами построения новых форм бытия.

И так это легко и весело делает, будто ветер, сбежавший с высоченных гор. Раскаленная аудитория через каждые две-три минуты взрывает поэта-трибуна динамитом пылающих аплодисментов, залпом разрывающихся сердец.

Здесь, в Тифлисе, у себя дома, Маяковский говорил, будто избранный тамада, языком великой взволнованной дружбы.

Несмотря на всю свою зеленую молодость, Маяковский был достаточно зрелым мыслителем новой социальной смены и не менее зрелым поэтом стихотворного мастерства.

Здесь, в Тифлисе, поддержанный неостывающим огнем друзей юности, Володя развернулся во всю ширь, словно сразу вырос, равняясь по Эльбрусу.

Недаром, когда мы крупной компанией не раз поднимались по фуникулеру на гору Давида, Маяковский, озирая с высоты митинг гор, говорил:

— Вот это — аудитория! С эстрады этой горы можно разговаривать с миром. Так, мол, и так — решили тебя, старик, переделать.

В эти дни нашего весеннего будоражного пребывания в Тифлисе мы ходили без конца по гостям, по духанам, по кофейням, по улицам, по базарам и всюду сплошь читали стихи, и всем это нравилось.

Если навстречу нам попадались девушки или юноши, Маяковский спрашивал:

— Куда идете? Зачем? Бросьте. Давайте вместе. Вернитесь. Пойдемте с нами читать стихи.

И за нами шли.

Маяковский почти сплошь говорил по-грузински, и мы этим очень гордились.

Я завидовал ему и даже сердился.

Еще бы: в кругу бронзовых грузинок Маяковский что-то постоянно говорил на мой счет, а грузинки сочно хохотали.

Я, конечно, не понимал, что во мне смешного и сердился, так как грузинки мне особенно нравились, а Володя явно мешал, портил.

И только ночью в гостинице признался:

— Вася, не сердись. Это я нарочно делаю, нарочно порчу, чтобы ты не влюбился в Тифлисе, как я в Одессе. Вы, сволочи, меня отвлекли от любви, ну, и я вас отвлекаю. Любить нельзя — масса тяжелых неприятностей.

«Тифлисский листок» злился:

«...Этим прославленным “провозвестникам будущего” мало, тесно в театрах, так они разгуливают по Головинскому в своих желтых облачениях, собирая уличные толпы и тем мешая пешеходному движению. Пора это “столпотворение” прекратить».

После ряда тифлисских выступлений в оперном театре и в гостях, мы побывали в том самом Кутаисе, где жила семья Маяковских: отец (лесничий), мать и две сестры — Людмила и Ольга.

Здесь Володя провел детство, здесь учился в гимназии, здесь он встретил 1905 год, здесь, по его словам, Володю вместе с грузинскими революционерами умиряли нагайками.

Отсюда в 1906 году, после смерти отца, семья переехала в Москву.

Теперь Маяковский на улицах Кутаиса то и дело встречал друзей детства, целовался, обнимался при встречах и горячо говорил по-грузински, вспоминая, очевидно, детские годы, игры, приключения, знакомых, гимназию.

И в эти минуты из окон гимназии приветствовали нас стаями белых платков.

Здесь Маяковский горел воспоминаниями, много и подробно рассказывал о детстве, о своих затейных играх с младшей сестрой Олей, с приятелями.

Каменистый берег Риона, развалины древнего храма Баграта, тучные деревья, сады, базар, улицы, дома, люди, — все были свидетелями кутаисского детства Володи.

— Вот идет ослик, сонно бредет ослик сам по себе, — радовался Маяковский, — прежде я бы обязательно сел на него и проехался, а теперь если сяду, не видать будет ослика и ноги мои по земле потащатся.

Кутаисские друзья Маяковского устроили ему жаркую встречу.

Пили вино из бычьих рогов, пели «мравалжамиер», под зурну плясали лезгинку, говорили речи, читали стихи, стреляли в потолок.

Словом, от виноградного и всяческого успеха едва выбрались в Россию.

Побывали еще в разных городах и, наконец, вернулись в Москву в самом воинственном состоянии.

Стремительное путешествие в «экспрессе футуризма» по многим городам, победные следы оставленных битв и там, на местах сражений, оставшаяся армия молодых последователей, весь этот рейд убедил нас продолжать завоевания дальше с удвоенной возрастающей энергией опытных мастеров.

От нас ждали новых книг, свежих работ.

Весна 1914 года была жаркой, как лето.

По приезде в Москву теперь каждый из нас и наших соратников в эти дни буйного расцвета футуризма кипел желанием напечатать свою книгу, дать свой сигнал.

Вместе с тем необходимостью стало перейти от отдельных книг и сборников на рельсы литературного объединения.

Мы организовали и быстро выпустили толстый «Первый журнал русских футуристов», в котором принимали участие: Аксенов, Д. Болконский, Константин Большаков, В. Бурлюк, Дав. Бурлюк, Н. Бурлюк, Д. Буйан, Вагус, Васильева, Георгий Гаер, Рюрик Ивнев, Вероника Иннова, Василий Каменский, А. Крученых, Н. Кульбин, Б. Лавренев, Ф. Леже, Б. Лившиц, К. Малевич, М. Матюшин, Владимир Маяковский, С. Платонов, Игорь Северянин, С. Третьяков, О. Трубчевский, В. Хлебников, Вадим Шершеневич, В. и Л. Шехтель, Г. Якулов, Эгерт, А. Экстер и др.

Редакционный комитет: К. Большаков (библиография, критика), Д. Бурлюк (живопись, литература), В. Каменский (проза), В. Маяковский (поэзия), В. Шершеневич (библиография, критика).

Редактор: Василий Каменский.

Издатель: Давид Бурлюк.

Этот журнал явился объединением нескольких группировок, как «Мезонин поэзии» (Вадим Шершеневич, К. Большаков, Сергей Третьяков, Борис Лавренев, Рюрик Ивнев и др.) и «эго-футуристы» — во главе с Игорем Северяниным, Василиском Гнедовым, К. Олиповым (сын поэта Фофанова).

Отдельными авторами в наши сборники вошли Николай Асеев и Борис Пастернак. Вообще «штаб футуризма» разросся до громадных размеров.

Даже трудно было учесть наших многочисленных, вновь прибывающих сообщников.

Земля футуристов ширилась...

Но первая «Земля футуристов» была мало понятна для читателей наших книг, для посетителей наших выставок картин, для зрителей нашего театра: трагедия «Владимир Маяковский» и опера «Победа над солнцем», музыка Матюшина, слова Крученых, декорации Малевича (эти спектакли шли в начале декабря 1913 г. в помещении театра Комиссаржевской, в Петербурге).

Давид Бурлюк на свои трудовые средства издал «Трагедию Маяковского» (вообще он все свои заработки художника, лекто-

ра, поэта тратил на издания наших произведений, которые, кроме него, никто не печатал).

Первый гонорар, и очень приличный, за книгу Маяковский получил именно от Бурлюка.

Не раз Маяковский обращался к нему:

— Ну, мой меценат, а как насчет авансов — можно?

Бурлюк никогда не отказывал:

— Хотя я и не капиталист, но гениальному поэту дать могу.

На это Маяковский отвечал:

— Я к капиталистам никогда бы не обратился.

Не раз Маяковский брал деньги и у меня и при этом улыбался:

— Если выиграю — отдам.

В денежном отношении у нас было просто: есть, так бери, а нет — так не спрашивай.

По натуре Маяковский всегда был широк и щедр: любил угощать друзей и деньги тратил небрежно, как спички, и поэтому часто сидел без денег и даже без спичек.

И, будучи в безденежном прорыве, наивно спрашивал:

— Почему у меня нет денег, — разве я плохой поэт?

— Но у тебя они были вчера.

— Разве? Не помню. Значит — проиграл.

Но это безденежье ничуть не мешало Маяковскому ходить всегда заряженным новыми стихами, не считаясь с местом пребывания.

Постоянно мы ходили в кафе.

В кафе: шум, люди, музыка, а Маяковский глядит поверх всего и делает свою работу, иногда цитируя отдельные новые строки.

Или вдруг, смотря, как рисует за столом Бурлюк, берет бумажную салфетку и тоже рисует разных кафеиных типов с уклоном в шарж.

Или попросит мою записную книжку и рисует меня и подписывает:

«Поди и осиль ее  
рожу Каменского Василия.

Владимир Владимирович Маяковский родился 7 июля 1893 г. под чер».

И обязательно сделает меня уродливым и ребячески смеется:

— Это я специально для твоих девушек. За полной подписью.

Вот — на.

И потом внезапно:

— К черту кафе! Скучно. Давайте пойдем куда-нибудь, где можно читать стихи, или драться за них, или травить бальмонов.

Мы шли, читали, дрались за футуризм, выступали, работали, верили в жизнь.

А жизнь шагала месяцами событий.

Неожиданно взорвалась война.

Начались мировые сдвиги, перемены, переоценка ценностей, переселенья, диктатура военщины, колебанья почвы.

От всеобщей раскачки умов и сердец нам, футуристам, стало легче.

«Биржевка» даже написала:

«Футуризм заразителен, он пышно расцветает, он в каждом доме. Теперь все интересуются только войной и футуризмом. Футуристы хозяйничают не только в искусстве, но и в самой жизни, — вот в чем ужас».

Для кого «ужас», а нам — удовольствие. Почувствовала явная победа.

К нам потянулись такие писатели, как Александр Блок, Ф. Сологуб, Н. Евреинов, М. Кузмин, А. Ремизов.

Аверченковский «Сатирикон» пригласил Маяковского и меня сотрудничать.

В это время мы все перебрались в Петроград.

Работали напорно, крепчали.

Мы чуяли конец «существующего строя», мы верили в пришествие революции.

Маяковский горел:

— Скоро трахнет рабочая революция, и тогда я покажу себя.

Мы все горели одним пламенем (я лично — еще с 1905 года, когда в Нижнем Тагиле был председателем революционно-забастовочного комитета) и подобную фразу Маяковского слышали много раз и не удивлялись теперь.

Именно теперь, в жуткие дни военного патриотизма — «за веру, царя и отечество» — Маяковский с гордостью всюду повторял:

...Вижу идущего через горы времени,  
Которого не видит никто.  
Где глаз людей обрывается куцый,  
Главой голодных орд  
В терновом венце революции  
Грядет шестнадцатый год.

Это был отрывок из растущей новой поэмы «Тринадцатый апостол» («Облако в штанах»), над которой теперь Маяковский работал с утроенной энергией.

Максим Горький, приехавший из заграницы, первый из крупных писателей — кто нас широко поддержал.

Горький писал («Журнал журналов» № 1):

«Русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, Вас. Каменский. Среди них есть несомненно талантливые люди, которые в будущем вырастут в определенную величину. Их много ругают и это несомненная ошибка. Не ругать их нужно, к ним нужно просто тепло подойти, ибо даже в этом крике, в этой ругани есть хорошее: они молоды, у них нет застоя, они хотят нового свежего слова, и это достоинство несомненное.

Достоинство еще в другом: искусство должно быть вынесено на улицу, в народ, в толпу, и это они делают, уродливо, но это простить можно. Они молоды... молодые.

И все они, этот хоровод галдящих, кричащих и именующих себя почему-то футуристами, сделают свое маленькое, а может, и большое дело, которое даст всходы. Пусть крик, пусть ругань, пусть угар, но только не молчание.

Трудно сказать, во что они выльются, но хочется верить, что это будут новые, молодые, свежие голоса. Мы их ждем, мы их хотим.

Их породила сама жизнь, наши современные условия. Они не выкидыши, они вовремя рожденные ребята.

Я только недавно увидел их впервые живыми, настоящими и, знаете, футуристы не так уж страшны, какими выдают себя и как разрисовывает их критика.

Вот возьмите для примера Маяковского — он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него несомненно есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов. Она написана настоящими словами».

Времена, действительно, переменялись.

Футуристы стали «признанными» настолько, что впервые на свет появился толстый сборник «Стрелец», как знак объединения мастеров слова.

В «Стрельце» участвовали: А. Блок, Дав. Бурлюк, Н. Евреинов, З. Венгерова, Л. Вилькина, В. Каменский, А. Крученных, М. Кузмин, Н. Кульбин, Б. Лившиц, А. Лурье, В. Маяковский, А. Ремизов, Ф. Сологуб, В. Хлебников, А. Беленсон, А. Шемшурин.

Мы всюду постоянно выступали.

На общем фоне, как дреднуот среди миноносцев, выделялась до зубов вооруженная натиском фигура Маяковского.

Он гремел, удивлял.

Он первый из поэтов, кто активно выступил против войны.

Это вызвало всеобщее возмущение даже среди писателей-патриотов, настроенных в пользу «победы России над врагом».

Но Маяковский шагал напролом.

Однажды в богемском подвале Бориса Пронина «Бродячая собака», где мы, деятели искусства, часто собирались, Маяковский резко выступил против войны и почти с остервенением прочитал:

...Вам ли, любящим баб да блюда  
Жизнь отдавать в угоду.  
Я лучше в баре б..... буду  
Подавать ананасную воду.

Поднялся невероятный скандал.

Какой-то «гость» — присяжный поверенный, разозлившись, запустил в голову Маяковского несколько бутылок, но не попал.

Мы бросились на присяжного поверенного и выгнали его к черту.

Мы потребовали от Маяковского еще таких же стихов, и он торжественно читал под нашей верной охраной:

Что вы,  
Мама?  
Белая, белая, как на гробе газет.  
«Оставьте!  
О нем это,  
Об убитом, телеграмма.  
Ах, закройте,  
Закройте глаза газет».

«Биржевка» была права: мы чувствовали себя «хозяевами положенья».

Ого! Нас не так-то легко было тронуть, — ватага вполне убедительная.

Летом 1915 года Маяковский познакомился с Лилей и Осипом Бриками.

Это явилось «большим событием» и для него, и для нас.

Маяковский, как известно из его же произведений и вообще, полюбил Лилю Брик первой настоящей любовью, и с этой минуты и до последней он был спаян с Бриками великой дружбой.

Понятно, что немедленно сдружились с Бриками и мы, активные мастера футуризма.

На это были важные причины: Осип Брик явился энергичным теоретиком нашего движения, он превосходно знал о всех

наших достижениях, он блистательно возносил гений Маяковского и издал его изумительную поэму «Облако в штанах».

На улице Жуковского, в квартире Бриков, образовался «Штаб футуризма».

Бывать у Бриков — стало делом культуры и громадного удовольствия.

Здесь постоянно собирались: Маяковский, Хлебников, Шкловский, Бурлюк, Каменский.

Здесь мы читали новые вещи, обсуждали текущие затеи, возмущались военной чертовщиной, ждали революцию, работали для революции.

Для какой?

Только для пролетарской.

Ибо все движенье футуризма было направлено против буржуазии как класса, против всего буржуазно-мещанского уклада.

Правда, мы не считали себя подлинными пролетарскими поэтами, но мы упорно готовились встретить пролетарскую революцию во всеоружии своего нового революционного мастерства.

К этой революции мы шли своей «оригинальной» дорогой, и шли вполне сознательно.

К тому же Маяковский, как известно, в 1908 году работал в партии большевиков, — об этом он всегда говорил с особой гордостью.

И с тем большей гордостью он принял предложение М. Горького участвовать в марксистском журнале «Летопись».

К этому времени мы считали, что роль футуризма, как обособленной группы, кончилась, что мы отныне должны влиться в широкие масштабы революционной общественности.

Вскоре Брик выпустил журнал «Взял», в котором Маяковский заявил:

«Сегодня все футуристы. Народ — футурист. Футуризм мертвой хваткой взял Россию. Да, футуризм умер, как особенная группа, но во всех он разлит наводнением. Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Голос футуризма, вчера еще мягкий от мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди».

А «медь проповеди» Маяковского с каждым часом событий звучала все гуще, настойчивее.

Сама взбудораженная жизнь делала Маяковского своим трибуном.

Остановитесь.

Вы не нищие,

Вы не смеете просить подачки.

Нам здоровенным  
 С шагом саженым  
 Надо не слушать, а рвать их,  
 Их  
 Присосавшихся бесплатным приложением  
 К каждой двуспальной кровати.  
 Их ли смиренно просить — помоги мне,  
 Молить о гимне, об оратории.  
 Мы сами творцы в горящем гимне  
 Шуме фабрики и лаборатории.

Осип Брик писал:

«Пойдите, встаньте в очередь и купите книгу Маяковского “Облако в штанах”. Бережней разрезайте страницы, чтобы, как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги-хлеба. А нам, которые

Держим в своей пятерне  
 Миров приводные ремни,

только “этой книги не хватало, чтобы жить”».

Шкловский предупреждал:

«Из огненной книги Маяковского “Облако в штанах” цензурой вырезано почти все, что являлось политическим кредо русского футуризма, остались любовь, гнев, прославленная улица и новое мастерство формы».

Успех поэмы «Облако в штанах» был столь громаден, что с этой минуты он сразу поднялся на высоту гениального мастера-поэта.

Даже враги смотрели на эту высоту с трепетом изумленья.

А сам автор читал поэму так блестяще, что будто говорил от имени всего человечества.

Так потрясающе-превосходно читать, как это делал сам поэт, никто и никогда не сумеет на свете.

Это недосыгаемое великое дарование ушло вместе с поэтом безвозвратно.

Убежден, что в целом мире нет подобных исполнителей поэм Маяковского, ибо для этого надо быть самим Маяковским.

Он и сам говорил:

— Вот сдохну и никакой черт не сумеет так прочитать. А чтение актеров мне прямо противно.

За двадцать лет нашей дружбы я слышал Маяковского тысячи раз и всегда с неизменным наслаждением до опьянения: несканзанным величием дышали его слова-громадины.

А теперь, когда он впервые читал «Облако в штанах», когда ему было только 22 года, я смотрел на него, как на чудо приро-

ды, слушал и думал: и это — тот самый мальчик Володя, которого я встретил всего только четыре года назад.

Не верилось в чудо, но было так.

Очень трудно было постичь эту стремительность роста поэта, тем более мне — жившему с ним постоянно.

Теперь, в 22 года, Маяковский уже не был юношей, а передо мной существовал вполне сложившийся взрослый, глубоко-умный мужчина, всегда озабоченный крупным делом.

При этом он ни перед кем не скрывал своего счастья с Лилей Брик.

А Лиля с неостывающим энтузиазмом относилась не только к Маяковскому, но и к нашим стихам.

Словом, Брики нас окрыляли.

Однажды, встречая новый 1916-й год у Бриков, я спросил Маяковского:

— Ты очень счастлив?

— Да. Но я из-за Лили сходил с ума, бешенствовал и даже хотел застрелиться. Лиля спасла, и она для меня теперь — все. Таких, как она, на свете не бывает.

Слово «застрелиться» в устах Маяковского для всех других звучало бы насмешкой, но для меня, знавшего отлично его крутые «внезапности», его бурный характер с «прорывами сознания», его сложный темперамент, его «быть или не быть», это слово звучало, как строки его стихов этих же дней:

Все равно —  
Я знаю  
Я скоро содохну.

Маяковский прекрасно осознавал свои «внезапности» как психические сдвиги и в эти минуты «за себя не ручался».

Много раз мне приходилось быть свидетелем подобного «прорывного» состоянья Маяковского и тогда становилось страшно.

Разумеется, мы, его близкие друзья, всячески старались переклЮчить, перестроить этот его зловеющий прорыв и тогда, после удачного вмешательства, он сам же, как ребенок, смеялся:

— А я думал — что крышка.

Таким мы знали его с первых дней встречи, таким он остался и теперь.

В нем жила какая-то «трагическая предрешенность» одного Маяковского и в нем же жила великая любовь к жизни другого Маяковского: раздвоенье личности.

Это он понимал сам, говорил об этом раздвоеньи, интересовался разговорами и книгами по этому поводу, боролся сам с собой, сколько мог.

И писал:

Я  
Как надвое раскололся в вопле.

И в той же поэме:

Все чаще думаю,  
Не поставить ли лучше  
Точку пули в своем конце.

И там же:

Мне, чудотворцу всего, что празднично.  
Самому на праздник выйти не с кем.  
Возьму сейчас и грохнусь навзничь  
И голову вымозжу каменным Невским!

Все эти цитаты из поэмы «Флейта-позвоночник» (1915 г.).  
И рядом — гениальное «Облако».

Я знаю  
Солнце померкло б, увидев  
Наших душ золотые россыпи,

Потому что:

Жилы и мускулы молитв верней.  
Нам ли вымалывать милостей времени  
Мы —  
Каждый  
Держим в своей пятерне  
Миров приводные ремни.

Вот какие психологические крайности жили тогда в «красивом, двадцатидвухлетнем» Маяковском, который, «мир огротив мощью голоса», в 1916-м году в поэме «Война и мир» воспевал:

Славься человек,  
Во веки веков живи и славься.

Поэт радовался:

О, как великолепен я  
В самой сияющей  
Из моих бесчисленных душ.

И в том же году этот сияющий поэт, говоря в «Человеке» о далеком будущем улицы Жуковского, где жила Лиля Брик, писал:

Она — Маяковского тысячи лет:  
Он здесь застрелился у двери любимой.  
Кто? Я застрелился?  
Такое загнут.

Подумать только, загнуть такое, что Маяковский, этот чудотворец новой жизни, и вдруг... застрелился.

Маяковский — борец-трибун не желал верить другому Маяковскому — слабому, минутному, безвольному, нездоровому.

И был прав:

Ибо революционер-Маяковский, имея при себе оружие, твердо знал назначение пули, когда с часу-на-час ожидал взрыв революции.

Шире и шире крыл окружие.  
Хлеба нужней  
Воды изжажданней —  
Вот она,  
Граждане за ружья.  
К оружию граждане.  
Граждане.  
Это первый день рабочего потопа.

(«Революция». 1917)

К тому же Маяковский в 1916-м состоял мобилизованным и был в военно-автомобильной школе.

Но это ему не мешало оставаться поэтом-общественником: он появлялся всюду и с пафосом предчувствующего близость революции читал свои огненные поэмы.

Сама жизнь бросала его в крайности, и он был одержим ими.

И теперь, как поэт, он работал еще упорнее, еще жарче.

Он весь пылал будущим.

Вскоре после февральского переворота Маяковский пригнал в Москву ко мне и Бурлюку с целью немедленно выступить с агитацией в пользу пролетарской революции, во имя идей Ленина, против буржуазного Временного правительства.

Выступили.

Для нас было новостью услышать Маяковского как политического оратора.

Надо сказать, что и тут поэт-трибун оказался на высоте блестящего дарования: он призывал всех мастеров искусства отдать свои труды рабочему классу, грядущей пролетарской революции.

В Маяковском заговорил большевик 1908 года, когда он был в партии.

Он призывал:

Все по станкам,  
По конторам,  
По шахтам, братья.  
Мы все  
На земле  
Воины одной  
Жизнь созидающей рати.

О, теперь прежнего Маяковского, юношу-бунтаря, проповедника футуризма, носителя желтой кофты, трудно было узнать: он возмужал, был одет в обыкновенное, говорил только о политических событиях, называл себя большевиком.

Бурлюк с изумленьем разглядывал своего бывшего ученика в лорнет (у Бурлюка только один глаз, другой — стеклянный, а лорнет служит помощью и прикрытием) и гоготал от радости, от любви, от гордости, как счастливый отец русского футуризма.

Володя улыбался:

— Сыграем в орла-решку.

Бурлюк:

— Не могу, у меня — детки.

Маяковский:

— Ну, Вася, сыграем.

Я:

— Не могу, у меня тоже детки.

Маяковский:

— Да ну вас к черту. Какие там детки, когда надо делать революцию.

Маяковский старался быть отныне только серьезным, но были звенья, когда он снова (ведь ему только 23 года) делался юношей, мальчиком и почти ребенком, и это были незабываемые минуты веселья и даже озорства.

На предмет озорства он всегда почему-то выбирал меня и хотел, откидываясь, когда я сердился (для его удовольствия я делал вид, что сержусь) и ворчал.

Например, в кафе он незаметно мне подсовывал в карман чайную ложку, а потом звал официанта:

— Не пускайте этого рыжего человека в кафе — он пристрастен к чужим чайным ложкам, хотя и кроткий на вид.

И вообще на мой счет отпускал разные издевательские шуточки.

Правда, и я не оставался в долгу, но состязаться с Маяковским в остроумии возможным не представлялось.

Бурлюк гоготал сплошь.

Да и я тоже.

А потом, тут же в кафе, он вдруг:

— Скучно. Пойдемте отсюда.

Но в эти «скучные» минуты оставлять его одного было жаль (он и сам избегал этого), хотя он и молчал час-два, неизвестно что переживая.

Иногда, впрочем, говорил:

— Черт знает, что во мне происходит. Или я дурак, или — весь мир.

Я успокаивал:

— Безусловно — весь мир.

Володя улыбался:

— Я тоже так думаю. Иначе — не выходит.

А он:

— Скучно, друг Горацио, скучно!

И после, через два часа загадочного молчания, смотришь — опять веселый, жизнерадостный, энергичный:

— Пойдем на бильярд.

На бильярде я всегда был «жертвой», так как играл он превосходно.

При этом, следя за шарами, все время работал мозгами, сочинял новые строки, читал их, проверял на голос, на низких нотах.

А голос его звучал обаятельно, — именно на низких нотах.

Бильярд кончался обычно моим проигрышем, — я платил «за время».

Володя ликовал:

— Плати, плати, скупой дьявол. И за боржом плати. И за извозчика плати. Вези!

Я обижался, что он называл меня скупым.

Он добавлял:

— Тогда выставляй ужин. Я научу вас, чертей, быть щедрыми, как Владимир Маяковский.

Что делать — я учился быть щедрым.

Но Бурлюк этого ученья явно избегал.

Маяковский ухмылялся:

— Додичка, дайте мне отступного и я перестану мучить.

Давид отсчитывал:

— Вот вам, гений, десять рублей. Больше не могу — у меня детки.

Бурлюк так любил Володю, что иногда обращался ко мне:

— Давай, сложимся и дадим Володе по десятке — он молод, талантлив, работает, пусть проживает, а мы обойдемся.

— Давай.

Маяковский брал деньги и шутил:

— Итак, значит, вы вкладываете в игру двадцать рублей.

Бурлюк отмахивался:

— Ни в какую игру я не вкладываю ни копейки, а если вы проиграетесь — я платить долгов не стану.

Маяковский утешал:

— В таком случае я пойду в кондитерскую и сожру все пирожные.

Все эти мелочи говорят о том, что в Маяковском, наряду с солидностью («Трагедия Маяковского», «Облако в штанах», «Человек», «Флейта-позвоночник» — громадные вещи по мысли и мастерству) жила непосредственная ребячливость.

В эти минуты детства он бывал незабываемо-обаятелен и так трогательно-нежен, что хотелось любить его до бесконечности и никогда с ним не разлучаться.

Да и он так был искренне привязан к нам, что постоянно ревновал:

— Где вы пропадаете? С кем? Почему не со мной? Не могу я без вас.

В это первое «свободное» время февральской революции мы много выступали как поэты революции, и всюду Маяковский заявлял:

— Мы накануне своей пролетарской революции. К черту буржуев-правителей.

На лето я уехал на Каменку.

Вернулся в Москву в сентябре.

Жажда тесного объединения новых поэтов, художников выросла до пределов необходимости немедленной организации клуба — эстрады, где мы всегда могли бы встречаться и демонстрировать произведения в обстановке товарищеского собрания.

Кстати, мы имели в виду и гостей с улицы.

С этой целью я с Гольцшмидтом отыскивали на Тверской, в Настасьинском переулке помещение бывшей прачечной и основали там первое «кафе поэтов».

Сейчас же явились туда художники: Маяковский, Давид Бурлюк, Жорж Якулов, Валентина Ходасевич, Татлин и давай расписывать по общему черному фону стены и потолок.

На стенах засверкали красочные цитаты наших стихов.

Бурлюк над женской уборной изобразил ошпыливающих голубей и надписи:

«Голубицы, оправляйте перышки».

Маяковский нарисовал меня с кистенем и надписал:

«Сарынь на кичку по башкам буржуев».

С первого же часа открытия «кафе поэтов» повалила густая лава своей братии и публики с улицы.

Как именинный пирог, набилась наша расписанная хижина.

Гости засели за двурядные длинные столы из простых досок.

И вот на эстраде загремели новыми стихами поэты.

Тут же, на особом прилавке, продавались наши книги.

Сама публика требовала:

— Владимира Маяковского! Маяковского!

И Маяковский выходил на эстраду, читал стихи, сыпал остроты, продавал книги, распевал на мотив ухаря-купца:

Ешь ананасы,  
рябчика жуй, —  
День твой последний  
приходит, буржуй.

Присутствующие драматические актеры декламировали наши поэмы, а оперные пели: «Что день грядущий нам готовит».

А грядущий день готовил много неожиданной пищи...

Грянули «10 дней, которые потрясли мир».

Пришла ленинская пролетарская революция.

Все походило на грандиозный праздник.

Толпы бросались в места, где расклеивались первые декреты Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина.

Новая власть действовала с большевистской решимостью.

Что будет?

Это стало всеобщим вопросом.

И как бы в ответ распространились упорные обывательские открытые слухи: большевики останутся у власти «не более двух недель».

А пока что, с первых же часов советской власти, когда все на улице высыпали, мы открыли двери «кафе поэтов», сияющими появились на эстраде и на веселье одним, на огорченье другим — приветствовали победу рабочего класса.

То, что «футуристы первые признали советскую власть», отшатнуло от нас многих.

Эти многие теперь смотрели на нас с нескрываемым ужасом отврата, как на диких безумцев, которым вместе с большевиками осталось жить «не более двух недель».

Наш октябрьский энтузиазм рос.

Кстати, в «кафе поэтов» появились новые гости: большевики в кожаных пиджаках, среди которых часто бывали — Муралов, Мандельштам, Аросев, Тихомиров.

Заходили ежевечерне, вооруженные винтовками, рабочие красногвардейцы.

Бывало так: читаешь поэму с эстрады и только разойдешься, а в эту минуту входит отряд красногвардейцев.

Начальник отряда постучит об пол винтовкой:

— Оставайтесь на местах. Приготовьте документы.

После быстрой проверки начальник заявляет:

— Продолжайте.

Ну, и продолжаешь читать поэму дальше.

А красногвардейцы стоят, слушают.

Маяковский проводил здесь каждый вечер и сплошь выступал, яростно приветствуя победу рабочего класса.

В эти боевые дни трибун Маяковский был исключительно прекрасен.

Он горел всеми огнями революционного торжества.

Пламенем пафоса был объят.

Каждое слово его дышало гневом, проклятием, гибелью буржуазному классу.

Каждое слово его дышало восторгом, энтузиазмом, приветствием новому рабочему классу.

Чугунным памятником агитатора-поэта-массовика стоял он на эстраде перед накаленной толпой и таким застыл в общем представлении.

Таким всеоружным гениальным мастером слова Маяковский встретил пролетарский Октябрь.

И таким прирожденным трибуном Маяковский встретил свою бурную юность, которая вся прошла в борьбе, в сплошных выступлениях за новую жизнь.

Иной юности у него не было, и я даже не помню единого момента, когда он говорил бы об отдыхе, об усталости.

И всегда, и везде Маяковский сиял, как солнце, у всех на виду, изумляя, удивляя всех возрастающей энергией.

Октябрьские события застали его на пороге полной зрелости, когда только кончилась юность и перед ним открывалась широкая дорога борьбы за дело коммунизма.

И по этой великой дороге Владимир Маяковский зашагал крупными, убежденными шагами пролетарского гениального поэта-агитатора.

